

Борис Рождественский

ЖИГАНОВ И ШЕМАНОВ
ИЛИ

СМУТА СЕРДЦА

Товарищ Бурыгин задумчиво смотрел на подчиненного ему электрика Жиганова, который, склонившись над обрывком не слишком свежей бумаги, уже в третий раз за последние две недели старательно и безолибочно выводил "Объяснительная за...".

Вчера товарища Бурыгина вызывали на расширенное заседание райкома партии, где он получил моральный урок ответственности за вверенное ему дело, словно он сам был животной коровой и сам лишь по злобости и хитрости своего отсутствующего ума мало думался, срывая тем самым план четвертого квартала уходившего года.

"А то, что корма худые и малосильные и отсутствуют другие предметы первой необходимости в хозяйстве молодой и еще неокрепшей коровьей фирмы, так это не имело никакого душевного отклика и понимания со стороны расширенного райкома.

И вот, пока он там сидел и отдувался за всю живность и наживность своего хозяйства, этот прохвост живо соорудил себе отдых для нетрудоспособного, будто он инвалид, времяпрепровождения".

Товарищ Бурыгин еще раз тоскливо и безнадежно осведомствовал зрением фигуру электрика Жиганова и понял, что никуда ему от него не деться, что бы он там не наврал про семейные неурядицы и болезни родственников.

"Где же найти, чтоб каплей никаких в рот не брал, да сюда, да за такое слабое денежное удовлетворение?" - думал брезгливо, заранее сдаваясь, товарищ Бурыгин.

Тут его узкая, вся на работу направленная мысль, вернулась вновь ко вчерашним угрозам и пинкотациям, и всдомнив доисконально баталью, выдержанную им, он остался доволен. Да, нелегко его теперь сковырнуть, потому как числится за ним в настоящий момент партийное членство и множество

душ деревьев, пусть и мало дающих продукта, но для процента дело серьезное и почти государственно значительное. А — кроме того — от этой мысли он даже обмяк внутри и весь осветился своим подошвенно прочным и уже начальственным лицом — появились кое-какие знакомства, повыше и поважнее райкомовской местной власти.

Тем временем Жиганов, высунувши взвужденный от вчерашней выпивки язык и моргая от напряжения внутреннего усилия мысли, закончил свою деятельность и вручил начальству написанную по всем правилам "Объяснительную...". Товарищ Бурыгин, не беря в руки противное всей его нацеленности на труд душа свидетельство тунеядства и распущенности, только махнул рукой, глядя в бумажные труды, лежавшие на столе перед его взором. И Жиганов тихо и почтительно отступил в тень коридора, счастливой рукой прикрыл дверь и отправился к себе в мастерскую, молча кивая головой в разнообразные стороны света в зависимости от приходивших ему на ум беспочвенных фантазий.

"Нет," говорил Шеманов — спортсмен-самбист наилегчайший из возможных категорий и одновременно друг Жиганова, — когда они вместе трудились над исправностью трамвайной печи для утепления помещений, что сломалась на части и давно не грела, — нет, Жиганов, начальство надо понимать и видеть в его нужды. Наш Бурыгин — формалист и идеолог трудовой деятельности на пользу и на благо. И его в этом следует поощрять, а не палки в колеса ставить своим пьянством и распущенностью сердечных клапанов".

"Он просто, — сказал Жиганов в ответ, сорвав при этом почти натянутую спираль, — собрался однажды для прыжка, сконцентрировался и прыгнул, а теперь приземлиться никак не может."

Шеманов отложил инструмент, зацумался и потом твердо сказал: "Так не бывает".

"Так то в спорте не бывает, а то — в жизни. Тут всяко бывает."

Покорные течению времени, занятые разговором о пустяках окружающего мира, незаметно для них самих, они очутились в обеденном перерыве.

Жиганов и Щеманов вышли из мастерской на свет дня. Было градусов тридцать с небольшим, и они молча окунулись в этот обездевший, погруженный в зайнцевое сцепление мир, двинувшись друг за другом, нога в ногу по узкой утесенной тропинке к недальним домам, что ждали своих хозяев на обеденные перерывы. Щеманов как спортсмен, соблюдающий режим и меру в жизни и во всем остающимся от нее, немножко пожевал жареного хека, съел омлет из двух яиц и выпил стакан кипяченого молока, чтобы не нарушить баланс своего наилегчайшего в 44 килограмма веса к грядущему большому соревнованию. А Жиганов, решившись не травмировать на сегодняшний день товарища Бурыгина, принял лишь два стакана "Розового", пахнувшего кислой, слегка подгнившей ягодой, для отвлечения болевых переживаний от головы и желудка и более аккуратного биения пульса везде, где он прещупывается. Свершили они это со вкусом, вдумчиво и в сравнительной мольчаливости относительно друг друга. Теропиться им было некуда, ни семья, ни какие-либо еще жители, не полагавшиеся на такую маленькую жилплощадь, которую они занимали, не могли помешать своим вторжением в их медленную пищеварительную деятельность.

Жиганов попивал и курил, весь погруженный в неопределенные заботы о том, о сем, о трамвайной печи, что никак не выходит у них целой и готовой к служению для пред назначенной ей цели. Щеманов жевал и думал разные мысли о предстоящих соревнованиях на первенство и еще о Вселенной, в которой жил, о трудностях ее роста и становления, о наличии беспорядка в разных частях и членах ее тела и об отсутствии гармонического совмещения целого в пространстве и, может быть, даже во времени.

Так они жили в командировочном положении своей жизни,

неожененные и бездетные, лишенные возможности платить кому-нибудь алименты или еще что-нибудь в копилку всеобщего благоденствия, Шеманов, погруженный в свое радикальное воображение о переделке и переименовании к лучшему земной жизнедеятельности и удела населения, а Миганов в состоянии не-прерывного алкогольного усугубления всех своих умственных и физических данных. Впрочем, его пьянство было связано не только с внутренними склонностями души, но и с семейными проблемами, ибо о Миганове нельзя столь уж решительно сказать, что он был не женат. Нет, у него даже имелся избыток в этом плане, так как в наличии находилось две жены, что и сводило на нет всю его личную жизнь. Будучи от природы человеком добросовестным и склонным к принципиальным решениям, он никак не мог остановиться окончательно на одной из них. И поэтому оказался вынужденным выбрать средний путь перманентного запоя в предвидении лучшей и более счастливой участи. Затрудненность его жизни увеличивалась еще от того, что одна жена была донельзя молодой и хрупкой на длительное существование, а другая, хотя и обладала весьма насыщенным здоровьем, была старше его на двенадцать с половиной лет. И если первую было жалко от ее прходящей молодости, то к другой он испытывал не менее интенсивное чувство чего-то, так как вникал в ее неудавшиеся предыдущие дни и завтращие трудности с мужским полом в столь позднем возрасте.

Шеманов же ничем не мог помочь Миганову, так как считал, что никого нельзя обижать, а нужно делать только по справедливости, так, чтобы всем было хорошо. Такая позиция, естественно, еще более затрудняла местоположения Миганова в мироздании.

После обеда они по той же тропинке вернулись в свою мастерскую, где до самого конца рабочего дня, никем не отрываемые, трудились над починкой трамвайной печи, предназначено изначально к обогреву жилых и нежилых помещений. Затем Шеманов, как всегда, отправился в свой спортивный

зал на тренировку всего тела и отработку предписанных борцу приемов, а Жиганов погрузился в "Розовое Крепкое", в изучение чертежей трамвайной печи и описаний к ним, чтобы посредством теории овладеть в конце концов и практикой трамвайно-печного дела...

Зима шла своим чередом, сменяя сильные морозы на не менее сильные метели, на ферме лопались трубы, время от времени что-то засорялось или наоборот вдруг прямо из-под земли бил неизвестно откуда взявшийся и никому не требуемый фонтан бесполезной жидкости, что тут же застывала, беспечно лоснясь при свете зимнего дня, в котельной поочередно или сразу все выходили из строя котлы, неделю не было электричества, две - воды. Из имевшихся в наличии коров одна умерла от холода и печали железобетонных конструкций и лежала неприбранная у побочного подъезда фермы, оставая запрокинутой головой и недышащим ртом. Совсем неожиданно к концу зимы случайно приблудшая корова дала молоко, но ее сразу увезли в Москву и больше ее никто не видел.

Трамвайная печь никак не чинилась, и Жиганов по-прежнему в отсутствие Шеманова проводил все вечера за изучением чертежей, инструкций и описаний. Не довольствуясь той литературой, что он нашел на ферме в мужской уборной, Жиганов послал запрос в городскую библиотеку и со дня на день ждал ответа.

Шеманов, столкнувшись с неизлечимыми трудностями по улучшению мировой жизни, уменьшил свои претензии и решил ограничиться реформацией собственного отечества в пределах существующих границ, заявив Жиганову, что при удачной реализации его идей страна послужит всем примером и образцом радикального и одновременно органического переустройства общества.

Посему он погрузился в исторические изыскания и материалы, исследуя прошлое для повышения качества будущего, что вскоре привело к некоторой потере спортивной формы самбиста наилегчайшего веса и положенных сорока четырех

килограммов, свернувшись до тридцати девяти. Недопущенный к соревнованиям на первенство, он все вечера теперь проживал над книгами большого формата, которые доставал неизвестно откуда. И Жиганов, отрываясь от изучения трамвайной печи /общий вид, вид сверху, в разрезе.../, чтобы глотнуть "Розового Крепкого" или "Крепкого Белого", читал в книге Шеманова:

"По окладной Камор-коллегии книге... показано доходов:

Кабацких... *** ***

С клейменья хомутов с извозчиков ****

С лавок, с полков, с шелашей, с кузниц...*

С свадеб куничных и убрусных...*

Жиганов, наткнувшись на слово "свадьба", вздохнул, крепко задумывался и с некоторой даже отчаянностью опрокидывал стакан.

Иногда, отвернув свои мысли в свободную сторону, он натыкался на шемановское чтение, вроде:

"О городах провинциальных и приписных какого строения сные и при каких реках, или при мори, а о некоторых и го-ди, в которых построены".

Казалось, время остановилось и запамячивало себя, оставив их в тишине и полной отставке. Даже товарищ Бурыгин стушевался куда-то и перестал встревать в личную жизнь Жиганова.

В последнее время на душе товарища Бурыгина было смутно и пасмурно. И не до того ему стало, чтобы начальственно вмешиваться в подчиненную массу. Не то, что пал большой туман или поселилась в сердце значительная и невыразимая в словах болезнь. Просто сильно сократилась внутренняя видимость, а обзор окружающих объектов для приложения трудового усилия сузился. И сами, еще оставшиеся, упали в количественном и стоимостном своем выражении, что сильно смущало его склонную к внешним проявлениям натуру. Он думал и так, и этак, раскидывал туда и сюда и никак не мог обнаружить зрячую причину неожиданной мятежности

своего ума. И потому эти зимние месяцы находился в чуждой ему потрясенности и бесчувственности большинства наружных выражений здравствующего организма.

Все вроде было как положено и в согласии с установками начальства и райкома. Вначале ему казалось, что это от перемены места, долгожданного поста и окончания беспартийной сиротской судьбы, так сказать, от изменения режима и уровня жизни. Но прошел месяц, другой, а он все так же пребывал в потерянности и не был приобщен к миру привычных явлений. Происходившее выглядело вроде глубже и касалось, наверное, самих тканей мозга, другими словами, было душевного, а не телесно-житейского свойства.

Смерть умершей коровы потрясла его, а когда увезли ту самую, что непредвиденно для всех стала доиться, и обратно она не вернулась — это окончательно сразило все его животворные центры. Исчезла внешняя красота лица и других менее приметных деталей и черт. Появились одутловатость и бледность, свойственные городским жителям, и даже некоторая угрюмость рабочего человека, проводящего иногда по несколько часов в цехе, вкалывая на своем рабочем месте или поблизости от него. Начальственная приятность и бодрящая подчиненных рововость всех пор улетучилась, и товарищ Бурыгин не выдержал. Он умер от недостатка внешних радостей сердца.

Жиганов и Шеманов, занятые своими неотложными делами, погруженные каждый в собственные выкладки и исчисления, не заметили гибели начальства. Тем более, что директивы, указания и рекомендации продолжали регулярно поступать. За корову, давшую по неизвестной причине молоко, всем вынесли благодарность и выдали денежную премию в размере оклада, а за умершую товарищ Бурыгин получил строгий выговор с предупреждением и занесением.

В конце февраля, когда дело с починкой трамвайной печи несколько продвинулось, и можно было надеяться закончить ее ремонт к праздникам, Жиганову пришло сразу

два письма /одно — от 11 октября, другое — от 21 ноября/ от его молодой жены, в которых она, явно истоекавшись, — как женщина еще не старая и мало выдержанная, писала следующее:

"Милый Игорь! Я вижу из своего окна, как заходит солнце. Оно уже совсем низко над лесом, и его лучи не достигают моей комнаты. Наступают сумерки, а они — ты знаешь — всегда вызывают во мне чувство тоски и беспокойства, какого-то дурацкого волнения, когда сам не знаешь, то ли ты плачешь внутри себя, то ли смеешься. В такие часы я особенно одинока и словно беззащитна, — хотя мне никто не угрожает, — перед чем-то большим, чем я и окружающие меня люди. Еще когда солнце лежит на верхушках елей, и они освещены теплым предзакатным светом, тогда и во мне, где-то внутри, теплеет. Жар, все усиливаясь, поднимается из глубины. Он жжет и палит меня так, что я вся высыхаю и во мне не остается ни капли влаги. А замирающие неровные удары сердца становятся сильными, до боли. И вот, в то мгновение, когда кажется уже нет сил терпеть, и я сейчас вся изойду в безмолвном крике, мое тело погружается в водоем с мягкой прозрачной водой... Такое чувство, будто я подставляю себя океану и всю отдаю течению, уносящему меня. Но это только мгновение, а затем со всех сторон наползают синие тени и входят в мою комнату и мое сердце. Конечно, все от температуры, потому что к вечеру она всегда у меня повышается, но ты не волнуйся. Врач говорит, что в моем положении не бывает иначе. Приезжай, я все жду тебя... жду..."

Жиганов, прочтя письмо, вздохнул, задумался и, отхлебнув из стакана "Белого Крепкого", прочел одним глазом в книге Шеманова:

"О марциальных водах.

Близ Кончеверских медных заводов в 1721-м году сысканы марциальные лечительные воды, при которых сделан дом и особливые покой для приезжающих пользоваться. При тех водах живет лекарь с учениками".

Жиганов неразумными глазами посмотрел на Шеманова и второе письмо у него в руке оказалось. Пришлось открыть его. Вот что там стояло:

"Все уснуло и слышно, если остановиться и затаить дыхание, лишь слабое шуршащее снега в темноте за моим окном. По комнате летает последняя муха, забытая за ненадобностью и нежеланием во время умереть. Я ее отгоняю, она улетает, но всякий раз вновь возвращается, чтобы жужжать, жужжать... Я слышу падение снега, который не выпал, так как время его еще не приспело. Но снег летит в моем воображении, верно, от страха, что я больше никогда не увижу, как он идет..."

Шеманов читал:

"Скажу вам истину, а не ложь: супостаты, которые у нас ныне, вместе с нашими единоверцами-изменниками, с новыми богоотступниками и кровопролитиями, разорителями веры христианской, вместе с первенцами сатаны, с братьями предателя Христа Иуды, все - и начальники их и подручные, их пособники и единомышленники, - недостойны по своим злым делам именоваться прямым своим именем; надлежит волками душегубными назвать их".

По мере чтений своих Шеманов все более каменел и отчуждался от друга и сослуживца по исправлению вывихов трамвайной печи, уходил подалее от него, неприметным для себя и Жиганова образом. Углублялся он в самую печаль и непосредственность прошедшей до него жизни, но света все не было. А только мрак, скорбь, да неприютность сиротства и запустения.

Жиганову были незаметны изменения облика и внутренней умственной структуры его друга: во-первых потому, как работы их продолжались регулярно и без перерывов, во-вторых, "Резовое Крепкое" продолжало поступать в магазин, несмотря на морозную зиму и другие невзгоды текущей жизни, а в-третьих и главных, сам он был весь утоплен в сочинение ответа своей супруге для ее и его окончательного успокоения. Но как получались у Жиганова одни устные фразы, непереноси-

мне на бумагу, то это вызывало только дополнительную жажду, да помутнение и без того слабой сообразительной деятельности.

Зима шла к концу, дни стали прибавляться, негусто, правда, но разреживалась уже ночная темень ранее прошлого времени. И белый зимний свет утра поднимал их к работе и каждого возвращал к персональным внутренним трудностям. Посчинка разрушенной временем и неправильной эксплуатацией траивайной печи продвигалась медленно, с перерывами и неудачами. Шеманов все более углублялся и себя углублял в давность отмеченного письменными напоминаниями исторического жития. Однажды, оторвав Жиганова от его мыслей и чувств, он прочел ему вслух:

"И Алексий оставался на месте, отведенном ему. А когда наступил вечер, ребята стали мучить его, посмеиваясь над ним и глумясь. И одни толкали его ногами, другие били, третьи выливали ему на голову помой. Человек божий... Алексий принимал все с радостью, готовностью и смирением. Сносился все это... в радости сердца своего еще 17 лет неизвестный в отчим доме своем, терпел насмешки, брань, побои и обиды."

И дальше еще прочел Шеманов:

"В черных одеждах вошла жена его и дрипала к груди святого. Она говорила со слезами: "Увы, одинокий мой гордик, сколько лет я прожила из-за тебя в одиночестве, ожидая, что услышу голос твой или весть о том, что с тобой сталоось. И ты не открылся мне. Сегодня я стала вдовицей, и ныне не на что мне больше уповать и некого ожидать и незачем терпеть. С этого дня я восплачу в раненой душе своей..."

На следующий день, проснувшись от света зимнего утра, он не нашел Шеманова на его обычном месте. Нигде его не было и больше он не появлялся. И что с ним сталоось оказалось недоступным поискам и сочувствующему любопытству Жиганова. Осмотрев повсюду в комнате и выглянув на двор,

он вернулся в дом, бросив совсем заботу о неправедно порушенной трамвайной печи и оставил этот труд будущим людям, которые должны были прийти после и закончить за него лечение уставшего механизма.

В нем вдруг созрел ответ обеим супружам, и он сел писать, чтобы не забыть пришедшее в голову. Молодой жене он написал длинное соображение по поводу окружающей природы и человека в ней.

Драгоценная Наталия!

Ты вот все за меня боишься, проявляешь беспокойство. Но оно - это беспокойство - излишне и, зря волнуя тебя, только мешает быстрому и скорейшему выздоровлению. Потому что я давно запущен в жизнь и в ней живу. И запущенность моя не от меня зависит, а от обстоятельств. Тут уж я не знаю, как тебе объяснить подробней, чтоб было понятно, как происходит со мной эта запущенность. У меня готовности жить очень много, даже делиться ей мне не страшно, с любым человеком, независимо от его состояния и внутренних подробностей. Только как это сделать, мне неясно, а от того трудно и происходят ошибки. Я ведь все время с тобой и о тебе думаю постоянно и даже неукоснительно. И просыпаюсь с тобой и засыпаю. Я все время к тебе иду, но трудно, потому что слишком много в мыслях и воображении, в придуманности, но как ее преодолею, то мы сразу будем вместе, уже навсегда, как ты этого хочешь, и я тем более и особенно об этом стараюсь.

На свете много великолепных вещей, и мы с тобой еще не главные среди них, но без этого множества и разнообразия природы и нас с тобой не существует. Мы только кажется, когда их нет. Вот ты пишешь, что идет снег или что от внешней темноты и отсутствия света у тебя на сердце темно и пусто. Это неправда, потому что тут целая ошибка. Ведь снег заполняет пустоту и лишает нас возможности быть в ней, то есть мы сразу становимся другими, не теми, чем

были до, когда его не было. Мы его в себя берем и становимся им. А ты любишь только солнце и тепло. Ты все внешним греешься, от внешнего получаешь жизнь. А на самом деле не так. Ты все время пишешь приезжай, а я еду постоянно к тебе и скоро буду. Но это не главное, ибо главное и страшное — скажу я сразу — в тебе и во мне, то есть в нас одновременно. Тут ведь весь вопрос и вся суть. Если я приеду, разве изменится погода и станет теплее, ведь зима не изменится на лето и атмосфера останется такой же холодной. И разве мало, что мы есть друг у друга в пространстве? А сила бренной и жалкой плоти нашей пусть пребудет с нами, чтоб не иссякла она даром, а применилась для более высокого и важного удела.

В утешение же Елизавете Петровне он отписал реестр даруемого ей имущества, что должно было по его понятию украсить остававшуюся ей непарную жизнь.

Перечень предметов.

1.	Холодильник отечественный	- 1
2.	Телевизор цветной	- 1
3.	Сервант венгерский	- 1
4.	Ковер с оленем и охотником	- 1
5.	Платяной шкаф немецкий	- 1
6.	Ложка серебряная	- 1
7.	Чайный сервис на 6 персон	- 1
и 8.	Вешалка в прихожей с подставкой для обуви	- 1

Уложив письма в конверты, он аккуратно заклеил их.

После всего, с душой, насыщенной опрятностью и покоям от справедливо исполненной давней обязанности, он поставил перед собой стакан и открыл бутылку крепкого розового вина.

На дворе стало темнеть, высоко в небе прошел циклон от глубокой воды отдаленного океана, ниже, ближе к земле, подул сильный западный ветер и пошел густой, слабый на ощущение снег, предвестник наступавшей весны.

Январь 1979 г.